

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
Глава 1. ЧИТАЯ ЗНАКИ	29
Глава 2. НЕЗНАКОМЕЦ В ГОРОДЕ	55
Глава 3. ХЕРФОРДСКОЕ ЧУДО	69
Глава 4. ДУХОВНАЯ МЕДИЦИНА	91
Глава 5. МЕССИЯ В МЮНХЕНЕ	111
Глава 6. ЕСЛИ ЗЛО — БОЛЕЗНЬ, ЧТО ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ?	141
Глава 7. БОЛЕЗНЬ КАК СЛЕДСТВИЕ ГРЕХА	169
Глава 8. ЕСТЬ ЛИ ВЕДЬМЫ СРЕДИ НАС?	191
Глава 9. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД КРУЗЕ	223
Глава 10. НЬЮ-ЭЙДЖ: НАЧАЛО	255
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	285
БЛАГОДАРНОСТИ	291
ПРИМЕЧАНИЯ	295
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	342

ВВЕДЕНИЕ

Фрау Н., как и вся ее семья, жила во Франконии, что в Южной Германии. Ее отец слыл *браухером* — человеком, наделенным целительским даром. Местные жители часто прибегали к помощи целителей, однако в сельских общинах вроде той, где росла фрау Н., отношение к ним было двойственным, даже настороженным. В конце концов, почему бы тому, кто способен прогнать болезнь с помощью магии, не уметь и наслать ее? После мучительной смерти отца фрау Н. многие соседи утвердились в подозрениях, что он якшался с темными силами, и эта тень пала на его дочь. Поговаривали также, что она держится наособицу, вечно «плывет против течения» и слишком уж тянется к «сливкам общества».

Впрочем, настоящие проблемы в жизни фрау Н. начались с приездом в деревню герра К. Он объявил себя целителем, способным устанавливать причины болезни по знакам — крошкам хлеба, крупинкам древесного угля и соломинкам, плавающим в воде. Он развернул активную деятельность, проводя магические ритуалы, утверждал, что владеет симпатической магией и управляет магнетизмом. Наконец, К. принялся распускать слухи об Н. — будто бы он видел ее в окне читающей книгу, полную заклинаний

и заговоров. Значит, она служит дьяволу, объявил К., тогда как сам он — Богу.

Герр К. выпивал, почти не работал и не заботился о своей большой семье. В деревне о нем держались невысокого мнения. Тем не менее после внезапной смерти двух пожилых односельчан слухи, и без того вившиеся вокруг фрау Н., приняли скверный характер. Ее заподозрили в причастности к этим смертям. Ребенок пастора вдруг потерял аппетит? Это проделки Н. Сдохла свинья? То же самое! К. пустился пророчествовать, что дети в семье, лишившейся свиньи, тоже заболеют и станут калеками. Чтобы избежать злой судьбы, он велел их матери собрать мочу ребятишек — он-де обрызгает ею дом Н. для противодействия ее козням. Он также предупредил семейство, что Н. трижды явится к ним в дом, чтобы одолжить ту или иную вещь, — ни в коем случае нельзя ей ничего давать! Если скрупулезно выполнить его указания, наставлял К., Н. лишится своей власти над ними.

Семейство отвергло помощь герра К., но пребывало в большой тревоге. Ему удалось создать в деревне атмосферу давящего страха. В любой мелочи люди стали усматривать ведьмовство. Детям запретили есть все, чем бы ни угостила их фрау Н., или принимать от нее подарки. Если она приносила на свадьбу букет, его выбрасывали. Если дарила растение в горшке — выдергивали из земли и уничтожали.

Кончилось тем, что фрау Н. была вынуждена подать на К. в суд. Его признали виновным в клевете и приговорили к короткому тюремному заключению. После этого об Н. если и судачили, то шепотом, а не в открытую¹.

. . .

Впервые читая об Н. и К., я полагала — вплоть до неожиданного финала, — что эта история могла произойти в Европе в период раннего Нового времени. Как вдруг этот резкий поворот: гонимая и ошельмованная фрау Н. обращается в суд, чтобы положить конец травле. Клеветник герр К. осужден и посажен в тюрьму.

Подобный исход был едва ли возможен, скажем, в XVI или XVII в., когда одного лишь доноса по поводу колдовства было достаточно, чтобы началось масштабное судебное и церковное разбирательство. Попытки подозреваемых часто оборачивались появлением новых ведьм. Как правило, эти процессы заканчивались казнями и сожжениями.

Однако история фрау Н. и герра К. случилась не в XVI или XVII в. Она произошла вскоре после Второй мировой войны в только что образованной Федеративной Республике Германия. Складывалось впечатление, что после ужасов Третьего рейха, после холокоста и самого кровавого и циничного конфликта в истории человечества на этой земле вовсю разгулялись колдуны и ведьмы — мужчины и женщины, считавшиеся воплощением и олицетворением зла. Примерно с 1947 по 1965 г. по всей стране, от католической Баварии на юге до протестантской земли Шлезвиг-Гольштейн на севере, имели место многочисленные случаи «охоты на ведьм» — как окрестили происходящее журналисты. Суды шли не только в сельской глубинке наподобие деревни, где жила фрау Н., но и в маленьких и больших городах.

Формально обвинение в колдовстве в послевоенной Германии означало то, что подозреваемым вменялись в вину тайное злодейство и скрытая злонамеренность. Судя по всему, проблема зла владела мыслями и довлела над послевоенной жизнью многих рядовых граждан, повидавших нацизм, и вера в ведьм стала лишь одним из многих проявлений этой одержимости. В архивах я обнаружила описания случаев, когда люди утверждали, будто их одолевают бесы, и приглашали экзорцистов. Я узнала об очень популярном целителе, утверждавшем, будто он способен различать добрых и злых людей, излечивать первых и изгонять дьявола из вторых. Я держала в руках судебные и полицейские протоколы с описанием молитвенных кружков, члены которых собирались для того, чтобы бороться с демоническим проникновением. Я читала о массовых паломничествах в святые места в поисках духовного исцеления и искупления грехов. В подшивках газет

сохранились кривотолки о конце света, пророчествующие погибель грешникам и спасение невинным.

Чтобы оценить, насколько способствует пониманию Западной Германии в первые годы ее существования тема колдовства и других фантастических представлений о зле, нужно взглянуть на этот вопрос с непривычного ракурса. В отличие от страхов перед ведьмами в XVI и XVII вв., в послевоенных обвинениях в колдовстве уже отсутствовал секс с дьяволом, ночные полеты на метле, левитация или способность скатиться по лестнице без единой травмы. В ведьмовских историях уже не было ни суккубов с инкубами, ни шабашей². История Н. и К., как и множество ей подобных, была весьма земной и прозаической. Хотя ведьмам вменялось в вину магическое лиходейство, в основе нападок лежали банальные подозрительность, ревность и недоверие. Однако эти обвинения, ничтожные на сторонний взгляд, были убийственно серьезны — серьезны с экзистенциальной точки зрения, поскольку касались добра и зла, болезни и здоровья.

Верования в ведьм, демонов и магическое целительство не пережитки «досовременного» мира, статичного и вневременного, сохраняемого в неизменном виде от поколения к поколению. Этим верованиям соответствуют уникальные культуры и истории, меняющиеся с течением времени. Есть, однако, у них и общие черты, не зависящие от эпохи и мест, где это происходит. Например, почти каждый, кто жил в 1980-е гг. в Соединенных Штатах, вспомнит всеобщую одержимость американцев якобы существующими сатанинскими сектами, похищающими детей в ритуальных целях. Отличающаяся почти всей своей конкретикой от примеров данной книги, эта одержимость тем не менее имеет с ними нечто общее. Обвинения обычно вспыхивают в ближнем круге, у членов семьи, опекунов и соседей. В небольшой степени они диктуются не только заурядным личным конфликтом, но и социокультурными неблагополучием и тревогой. Так же и выдумки о ведьмах в Германии после Второй мировой войны помогают нам понять общество, которое ими болело. Почему страх перед тайными злодеяниями, духовной

порчей и возможностью вселенской кары вспыхнул именно тогда? Какие выводы можно сделать из того факта, что определенные формы зла словно бы активизировались *после* эпохи нацизма?

. . .

В каждом моменте времени присутствует непостижимо огромный калейдоскопический набор переменных, непредсказуемым образом влияющих на направление и характер исторического развития. В этом смысле утверждение, что каждый исторический момент неповторим, является трюизмом. Однако период непосредственно после Второй мировой был уникален в главном. Эта война до сих пор потрясает нас до немоты. Колоссальные масштабы бедствия, в которое ввергла мир нацистская Германия, не поддаются объяснению и заставляют все переосмыслить³. Эта война, превратившая в ничто как бытовые, обыденные формы знания, так и мудрость профессионалов, явилась антропологическим шоком — шоком для всего человечества — и поставила под сомнение общую познаваемость мира⁴. Изобретательность в разрушении и жестокости, продемонстрированная во Второй мировой войне, вынудила полностью пересмотреть представления о том, что казалось очевидным или постижимым в человеческом поведении, вдохновив социологов нескольких последующих десятилетий на исследования⁵. Сами средства, которыми велась война, — геноцид, массовое истребление гражданских лиц, масштабные перемещения населения, эскадры смерти и лагеря смерти, медицинские эксперименты-пытки, массовые изнасилования, голод военнопленных, бомбардировки, применение атомного оружия — покончили с очевидными различиями не только между солдатами и мирными жителями, тылом и фронтом, но и между реальным и непостижимым. Кто мог бы поверить, пока нацисты их не создали, в возможность существования промышленных комплексов, разработанных с единственной целью — производство и уничтожение трупов?⁶

В начале XX в. самолеты еще не были изобретены. В те времена лишь немногие могли предвидеть, что через несколько десятков

лет можно будет с воздуха сровнять с землей огромные города. Немногие были способны представить, что единственной бомбой можно уничтожить все живое в большом городе, оставив лишь призрачные следы некогда живых созданий, — или сделать людей «ни живыми, ни мертвыми», «подобием ходячих привидений», как это произошло в Хиросиме⁷. Научная фантастика стала реальностью. Немецкий философ, психолог и психиатр Карл Ясперс, противник нацизма, надеялся, что наука сможет искупить грехи после войны, после атомной бомбы и нацистских медицинских экспериментов. Однако даже он признал в 1950 г., что «положение человека на протяжении тысячелетий оставалось относительно стабильным по сравнению со стремительным движением, подхватившим человечество в настоящее время вследствие развития науки и технологий и влекущим его неведомо куда»⁸.

В побежденной Германии проблема познания мира стояла особенно остро. Страна даже не вышла из войны единым государством, если под «государством» понимается суверенный субъект с собственным правительством, чиновничьим аппаратом и армией, собственной национальной экономикой, международными договорами и торговыми соглашениями. Германия больше не имела права печатать валюту и даже устанавливать уличные указатели⁹. Многие традиционные институты власти — армия, пресса, университеты, медицинские учреждения — были глубоко скомпрометированы в нравственном отношении или ликвидированы армиями союзников, оккупировавшими страну. Великобритания, Франция, Советский Союз и США разделили бывшую Германию на четыре оккупационные зоны. Британцы и американцы объединили свои зоны и создали Бизонию, это решение вступило в силу в январе 1947 г. В 1949 г., когда к ним присоединилась Франция, возникла Тризония. У территории был даже неофициальный гимн «Мы — жители Тризонии», очень популярный на праздниках, поскольку (как и немецкое правительство, и армия) гимн Германии был запрещен¹⁰. Союзники активно обсуждали возможность полного демонтажа промыш-

ленного оборудования страны, закрытия шахт и уничтожения тяжелой индустрии, источника ее колоссальной военной мощи¹¹. Считалось, что Германии можно без опаски позволить выпустать часы, игрушки и пиво, но не пушки.

Общее чувство неопределенности висело над бывшим немецким государством — и не только потому, что его правительство было обезглавлено, мощная экономика сведена к бартеру, а управление жизнью общества почти полностью контролировалось иностранными армиями. Изменилось все то, что еще более непосредственно воздействовало на людей в их повседневном существовании. Слова и идеи, символы и формы приветствия, даже жесты, которыми немцы свободно пользовались вчера, стали запретными сегодня. Почти буквально из-под ног каждого ушла земля: летом 1945 г. союзники собрались в Потсдаме и договорились перерисовать карту Европы, лишив Германию ее территории к востоку от Одера и Нейсе. В последующем вихре событий от 12 до 14 млн немцев из разных частей Восточной Европы, в том числе из общин, существовавших со времен Средневековья, бежали или были изгнаны, иногда с большой жестокостью: люди уходили из своих городков и деревень и оставались без крова¹². Фольклорист Виль-Эрих Пойкерт беженцем покинул родную Силезию. После разгрома страны и опыта бегства он понял, что «рациональное и причинно-следственное мышление... уже несостоятельно» в его научной деятельности. Он задавался вопросом, чем это вызвано: возможно, тем, что «наша империя раздроблена и мы стоим, увязнув во тьме, и ничто больше не имеет значения, кроме одного — собрать урожай зерновых»¹³.

Миллионы погибли. Миллионы сгинули и пропали, так и не вернувшись домой. Миллионы оставались заключенными в лагерях для военнопленных по всему миру. Миллионы лишились всего ради дела, о собственной поддержке которого, похоже, даже не помнили. «Нам вдруг пришлось признать, — вспоминал один человек, — что все, что мы совершали, зачастую с большим энтузиазмом или из чувства долга, — все это было напрасно»¹⁴. Разгром,

оккупация и утраты лишь усугубили потребность в ответах. Что стало причиной поражения? Кто виноват?

Социальное отчуждение и дезориентация стали обостряться еще до окончания войны. В 1945 г. в отчете СД (*Sicherheitsdienst*, подразделение контрразведки *Schutzstaffel*, или СС)^{*} описывались охватившие людей чувства «скорби, подавленности, ожесточения и растущей ярости», порождаемые «глубочайшим разочарованием из-за того, что доверие было оказано недостойным». Эти ощущения были особенно выраженными, отмечалось в отчете, «у тех, кому эта война не принесла ничего, кроме самопожертвования и труда»¹⁵. В последние месяцы боевых действий немцы сражались не только с армиями союзников на родной земле, но иногда и друг с другом. Около 300 000 или больше неевреев, жителей Германии, были казнены правящим режимом за государственную измену, дезертирство или пораженческие настроения. Решившие выйти из схватки порой оканчивали жизнь в петле с висящей на шее табличкой «Трус»¹⁶. Подобные акты «местного правосудия», особенно в небольших селениях и пригородах, едва ли могли быть забыты после войны, даже если негодованием трудно было найти выход¹⁷.

Представьте, что вы живете в маленьком городке, где вашим семейным врачом после войны является тот самый доктор, который рекомендовал нацистскому государству вас стерилизовать. Подобные счета свести невозможно; такие утраты остаются невосполнимыми¹⁸. Повседневную жизнь многих людей отравляли обман и предательство. Лежа ночами без сна, люди гадали, что случилось с их близкими, пропавшими во время войны. Некоторые вспоминали, как у них на глазах уводили соседей-евреев, и даже если тогда они не вполне понимали, что происходит, то поняли потом. Некоторые семьи в войну усыновили детей, сирот, как им было сказано, возможно, из Польши или Чехословакии. Однако некоторые, безусловно, спрашивали себя в мрачные моменты, кто

^{*} Нем.: «служба безопасности», «охранный отряд». — *Прим. пер.*

были родители их ребенка и что с ними случилось. Во время войны люди покупали товары на сельских рынках под открытым небом, вещи, украденные у евреев, обреченных на смерть в Восточной Европе: столовые приборы, книги, пальто, мебель. Немцы ели и пили из фарфора и хрусталя, принадлежавших соседям, носили их одежду и сидели за их обеденными столами¹⁹.

Немецкий язык славится лексической выразительностью. *Schicksalsgemeinschaft* — этим словом в войну описывалось товарищество, предположительно объединенное общей судьбой. Сегодня историки сходятся на том, что этот термин был, в общем, изобретением нацистской пропаганды²⁰. Безусловно, после 1945 г. немецкое общество демонстрировало никоим образом не единое чувство общинного и взаимного опыта, а разрушенное доверие и распад нравственных скреп. В Третьем рейхе доносительство было образом жизни. Государство поощряло граждан стучать на любого, подозреваемого в малейшей нелояльности, и отправляло многих в концентрационные лагеря, зачастую на смерть²¹. О человеке могли донести в гестапо за такую вроде бы мелочь, как прослушивание иностранного радио. Память о таком опыте и у предавшего, и у преданного не могла быстро развеяться. Александр Мичерлих, врач-психиатр, ставший впоследствии одним из самых видных и уважаемых общественных критиков Федеративной Республики Германия, описывал необъяснимый «холодок, пронизавший отношения между людьми» — «космического масштаба», сопоставимого с «глобальным изменением климата»²². В ходе опроса общественного мнения 1949 г. немцев спросили, можно ли доверять большинству людей. Девять из десяти ответили «нет»²³.

Очень многое из того, что мы знаем о мире, приходит к нам из вторых рук: от родителей, друзей, учителей, из СМИ; в значительной мере мы принимаем это на веру. Например, по словам

¹⁹ Сложное слово, составленное из понятий «судьба, жребий» и «общество, товарищество, единство». — *Прим. пер.*

историка науки Стивена Шейпина, мы можем «знать» состав ДНК, не проверив эту информацию лично. В этом смысле знание и доверие связаны. Чтобы «что-то знать», нужно доверять другим людям как коллективному свидетелю общей реальности, а также институтам, поставляющим данные, которые обуславливают повседневное существование. Общество как таковое можно уверенно описать как систему широко распространенных взглядов на то, как функционирует мир; взглядов, которые подводят фундамент под повседневную жизнь, придают ей смысл и преемственность²⁴. Однако доверие не данность и не аксиома: оно исторически специфично, а значит, по-разному формируется в разных обстоятельствах²⁵.

В Германии после Второй мировой войны даже основные факты повседневности не всегда поддавались простому или однозначному объяснению. По крайней мере до 1948 г. преобладал черный рынок и еда часто оказывалась фальсифицированной²⁶. Что это — кофе или цикорий? Мука или крахмал? Даже в простейших вопросах все было не вполне тем, чем казалось. Многие годы после войны существовали официальные документы, по-прежнему упоминавшие «Германский рейх» или составленные людьми, казалось сомневающимися, входят ли еще в «империю» части страны, отошедшие Польше²⁷. Нравственная сумятица побуждала «трактовать факты так, словно это не более чем мнения»²⁸. Как размышлял немецкий прозаик В. Г. Зебальд, «молчаливое соглашение, в равной мере обязательное для каждого», попросту сделало запретным обсуждение «подлинного масштаба материального и нравственного крушения, в котором оказалась страна»²⁹.

Некоторые основные истины были слишком токсичны, чтобы хотя бы признать их, тем более обсуждать. Философ Ханс Йонас молодым человеком бежал в 1933 г. из нацистской Германии в Палестину, где вступил в Еврейскую бригаду. Его мать осталась в Мёнхенгладбахе, родном городе семейства, в Рейнской демилитаризованной зоне. Она была убита в Аушвице. Вернувшись в 1945 г., Йонас посетил родной дом на Моцартштрассе,

поговорил с новым владельцем. «Как ваша мать?» — спросил тот. Йонас ответил, что ее убили. «Убили? Кому понадобилось убивать ее? — засомневался мужчина. — Никто не поступил бы так со старушкой». «Ее убили в Аушвице», — сказал ему Йонас. «Нет, не может быть, — ответил домовладелец. — Бросьте! Нельзя же верить любому слуху!» Он обнял Йонаса: «То, что вы рассказываете об убийствах и газовых камерах, — это лишь отвратительные рассказы». Затем мужчина заметил, что Йонас смотрит на красивое бюро, принадлежавшее его отцу: «Хотите его? Хотите его забрать?» Йонас был возмущен. Он ответил «нет» и быстро ушел³⁰.

Для некоторых людей переживания военной поры оказались настолько невыносимы, что они не могли поделиться своими мыслями и чувствами даже с единомышленниками. Романист Ганс Эрих Носсак в 1943 г. пережил бомбежку родного Гамбурга, устроенную союзниками. Позже он выяснил, что «люди, жившие вместе в одном доме и евшие за одним столом, дышали воздухом совершенно отдельных миров... Они говорили на одном языке, но то, что они подразумевали под своими словами, представляло собой совершенно разные реальности»³¹. Генрих Бёлль в романе 1953 г. «И не сказал ни единого слова...» представил героя по имени Фред Богнер, почти неспособного контактировать ни с кем из своей довоенной, досолдатской жизни. Он настолько уничтожен нищетой и неспособностью с ней справиться, что уходит из дома, где жил с женой Кете и детьми. Дни Богнер проводит за выпивкой и посещением кладбищ, находя успокоение среди мертвых и слушая заупокойные службы по людям, которых не знал. Иногда его приглашают поужинать родственники покойных, и с ними ему оказывается говорить проще, чем едва ли не с любым своим знакомым³².

. . .

По окончании Второй мировой войны Германия лежала в руинах. Целые города были уничтожены бомбардировками и артилле-

рийскими обстрелами, большие пространства, где все деревья, до единого, были вырублены на топливо, превратились в пустоши, а некоторые части страны фактически исчезли. Однако более затяжным, чем физическое опустошение, и даже более тяжким, чем позор разгрома и оккупации, было нравственное крушение. Германия в 1945 г. была парией для всего мира, ответственной за невообразимые преступления. Тем не менее оккупированная Тризония в короткий срок стала Федеративной Республикой Германия, или Западной Германией. Она была интегрирована в альянс западных стран эпохи холодной войны, ее экономика не имела себе равных в Европе, а уничтоженные бомбардировками города быстро отстроились заново для процветания с точки зрения общества изобилия. История, движение которой часто мыслится очень медленным, хранит в своих анналах немного столь резких изменений к лучшему. В этой радикальной трансформации коренятся вопросы сколь глубокие, столь и тревожные.

Довольно долго ученые представляли развитие Федеративной Республики как историю успеха³³. Они описывали ее основополагающий консерватизм, но и ее стабильность, а также учреждение конституционной республики под мудрым руководством канцлера Конрада Аденауэра. Историки делали акцент на «экономическом чуде» 1950-х и 1960-х гг. и подчеркивали сочетание полноценного капиталистического предпринимательства и мощного социального государства — «социальной рыночной экономики», обеспечившей гражданам Западной Германии почти беспрецедентный потребительский достаток. Историография подчеркивала интеграцию страны в западный мир эпохи холодной войны, повествуя о тяжелой работе по восстановлению и постепенному обретению экономической мощи и «нормализации» после бедствий войны. Этот нарратив всегда присутствует в неявном виде в описаниях послевоенных лет. «С каждым следующим годом, — отмечает один историк, — Германия становится на шагок ближе... к стабильности и предсказуемости мирной жизни»³⁴.

Эта история подкупает. Именно в ней многие жители Западной Германии желали находиться после войны, после травмы поражения и иностранной оккупации. В первые десятилетия существования Федеративной Республики Германия формировалось новое национальное самосознание, опиравшееся уже не на выдумки о расовом превосходстве и непобедимом военном искусстве, а на техническую подкованность, дисциплину и тяжелый труд. Этот нарратив был обнадеживающим, без сомнения, еще и потому, что его конкретность, упорядоченность и рациональность резко контрастировали с магическим мышлением Третьего рейха. Ушел мифологизированный культ вождя, мистицизм крови и почвы.

Такие национальные идеи обеспечивают единство и целостность, сглаживают противоречия. Вдумчивые критики заметили, что молодая Федеративная Республика Германия несколько напоминает фильм в жанре нуар, получившем широкую популярность в Голливуде в 1930–40-х гг., но восходившем в своей эстетике к немецкому экспрессионизму. Нуар играет с глубинными и поверхностными явлениями, тенью и светом, подчеркивая: то, что необходимо знать, не всегда исчерпывается видимостью, а глянцева личина может скрывать нечто гораздо менее привлекательное. Под глянцем Западной Германии, совсем близко к поверхности, таилась и не давала покоя неистребимая память о войне и преступлениях, которые, собственно, и привели к созданию государства³⁵. Более того, сюрреалистически резкий переход — от кровавой диктатуры к демократии, от широкомасштабного присвоения имущества и массовых убийств к «нормальной жизни» — в огромной мере обуславливался интеграцией нацистских преступников в общество. По большей части спасенные от судебного преследования, многие из них обнаружили в гуще изменившихся экономических и политических реалий новые многообещающие сферы деятельности. Во многих профессиях (от государственного управления, юриспруденции и полиции до медицины и образования) все места были заняты бывшими нацистами.

Диссонирующие противоречия этого перехода невозможно объяснить сухой статистикой безработицы и ВВП³⁶. Чтобы оценить мрачные стороны первых лет Западной Германии, нужна открытость к другим реалиям. По замечанию одного ученого, литература этого периода повествует о «волшебных очках, хромых пророках, игрушках на тему войны, об играх и спорте, мощных моторах, роботах и водородных бомбах, абортах, самоубийствах, геноциде и смерти Бога»³⁷. Такие явления и артефакты невозможно ровненько уложить в рядок — острые края обязательно будут торчать. Газеты того периода предлагают также противоречивые материалы: реклама хозяйственного мыла, представляющая домохозяйку с идеальной укладкой и осиной талией, в хрустящем белоснежном переднике, соседствует с заметкой о безымянных массовых захоронениях, только что обнаруженных в местном парке.

Даже самые объективные наблюдатели после Второй мировой войны поражались, сколь мало изменила немцев их недавняя история. Наиболее известным из этих толкователей была Ханна Арендт, немецкий философ еврейского происхождения, бежавшая с родины в 1933 г., но приехавшая посетить ее из своего нового дома, Соединенных Штатов, в 1949-м. Казалось, страна продолжает жить так, словно ничего особенного не произошло. Нигде больше в разоренной Европе ужас недавних лет «не ощущался и не обсуждался меньше, чем в Германии», писала Арендт. Она поведала об индифферентном населении, невозмутимо обменивавшимся почтовыми открытками с изображением уничтоженного и исчезнувшего прошлого, исторических мест и национальных богатств, снесенных бомбами с лица земли. Она задавалась вопросом, свидетельствует ли послевоенное немецкое «бессердечие» о «полубессознательном отказе предаваться скорби или врожденной неспособности чувствовать»³⁸. Складывалось впечатление, что по окончании войны немцы просто смахнули с себя пыль, принялись, камень за камнем, разбирать руины и начали восстановление. Чувства и мысли (если таковые были) большинства людей о совсем недавних событиях — гибели страны в военном

разгроме, оккупации иностранными армиями, собственном участии или соучастии в самых чудовищных преступлениях — оставались как будто погруженными в туман, окутанными молчанием. Если о собственных потерях в войне немцы говорили, и довольно одержимо, то другие вещи они попросту не обсуждали, по крайней мере публично: верность прежнему режиму, участие в антисемитских гонениях и грабежах, геноцид, военные преступления.

Немецкому философу Герману Люббе принадлежит знаменитое (спорное) утверждение, что молчание о нацистских преступлениях было важнейшим условием для созидания новой страны, «необходимым в социально-психологическом и политическом отношениях средством превращения нашего послевоенного населения в граждан Федеративной Республики Германия»³⁹. Именно молчание позволило обществу, раздираемому сознанием, что в нем присутствуют люди всех мастей — действовавшие в поддержку нацистов, активно противостоявшие им и занимавшие промежуточные позиции, — воссоединить страну. Люди хранили молчание ради реинтеграции⁴⁰.

Звучит довольно складно. Но все было не так, утверждаю я в этой книге. Молчание о том, для чего нашелся расхожий эвфемизм «самое недавнее прошлое», было повсеместным, но далеко не абсолютным. Никто не забыл демонов, выпущенных нацизмом: о них просто не говорили или говорили чрезвычайно закодированным, ритуализированным языком⁴¹. Прошлое часто проскальзывало как призрак, желающий напомнить живым, что его дело на земле не закончено.

. . .

Молчание — даже неабсолютное — осложняет историкам жизнь. Наша работа в огромной мере опирается на слова, в идеале — на слова, тщательно собранные и доступные. Однако огромная часть человеческого опыта обнаруживается за рамками слов или остается незаписанной. В некоторых случаях молчание само по себе становится разновидностью доказательства. Пусть разговоры об эпохе нацизма ограничивались неявными кодами и ни особо

тяжкие преступления, ни мелкие проступки не обсуждались сколько-нибудь подробно, прошлое могло просачиваться и просачивалось на поверхность в выходящих из ряда вон условиях и неожиданных формах. Даже когда жизнь как будто наладилась и стала «опрятной», как накрахмаленный белый передник, прошлое вновь и вновь пробивалось сквозь настоящее.

В конечном счете эта книга рассказывает историю общества, потерпевшего нравственный и материальный крах и затем начавшего создавать себя заново. Старые ценности, собственно и сделавшие возможным национал-социализм, стали внешне табуированными, но не исчезли. Культура — воспринимаемая здесь как комплекс идей, налагаемых группами людей на общество и формирующих глубокую структуру понимания ими устройства мира, — трансформируется медленно. Должны измениться обстоятельства, а новым идеям нужно время, чтобы устояться: тогда появятся новые способы жизни, существования и действия, новые нравы и моральные устои, даже новые методы обращения будущих поколений⁴². По крайней мере вначале немецкая реконструкция во многих своих ипостасях осуществлялась под властным приглядом чужаков, союзников-победителей, сыгравших значительную роль в формировании дискурса и распространении новых способов мышления, не говоря уже обо всех видах управления основными повседневными процедурами. В то же время многие функционеры прежнего режима быстро вернулись на должности, дававшие власть и влияние. Старые ценности никуда не ушли. В их контексте нужно было создавать новый мир.

В этой книге делается попытка узнать, как один тип общества начал процесс превращения в совершенно другой, при этом рассматриваются две самостоятельные, но связанные формы послевоенной демонической одержимости. Одна поражала изнемогающие души индивидуумов, жаждущих духовной передышки, — те, что стремились исцелиться, преобразиться или спастись. Другая овладевала целыми сообществами, где яростный социальный протест сублимировался в страх перед ведьмами.

Свидетельства первого типа одержимости стали возникать уже в конце войны, когда разлетелись апокалиптические слухи, внушавшие страх не просто перед уничтожением человека как вида, но, конкретно, перед Высшим Судом и Божественным гневом. Улегшиеся с окончанием войны, эти слухи вновь вспыхнули четыре года спустя. Словно из ниоткуда явился святой человек и начал излечивать больных. Этого целителя, Бруно Грёнинга, признает громадное множество людей, уверовавших в него как в нового Мессию, творящего их освобождение, хотя и карающего тех, кого он называл «нечистыми», — слишком, по его мнению, порочных, чтобы их исцелять. Грёнинг был не единственным послевоенным целителем, привлечшим массу последователей, но он стал самым знаменитым, намного опередив прочих, и толстенная кипа папок с документами о нем в разных немецких архивах рисует беспрецедентную картину послевоенной культуры и тревог той эпохи. Эти тревоги в такой же мере проявлялись в других сценах, описываемых в этой книге: в многочисленных явлениях Девы Марии в католических регионах Западной Германии, в доморощенных молитвенных группах, занимавшихся экзорцизмом, и в толпах, собиравшихся послушать странствующих проповедников, учивших принципу «око за око».

Обсессия Грёнинга в связи со злом обращает наше внимание на второй вид демонической одержимости, той, что поражала целые районы или деревни. С начала 1950-х гг. передовицы газет от севера до юга все чаще фиксировали случаи, когда соседи обвиняли друг друга в колдовстве, как в истории фрау Н. и герра К. Лучшее всего документированный пример этого феномена, известный нам, оставил после себя огромное собрание текстов — пожалуй, единственных дошедших до нас источников с богатым нарративом о боязни ведьм в ту эпоху. Лишь немногие современные документы в той же мере выявляют скрытые сложности постнацистского периода и погружают нас в дебри послевоенных общественных отношений.

На всем протяжении Новейшего времени историки скрупулезно фиксировали устойчивый интерес миллионов немцев из

разных социальных групп к вере в сверхъестественное и ко всевозможным магическим практикам. Горожане и сельчане, мужчины и женщины, обеспеченные и работяги — люди из самых разных слоев общества страстно увлекались астрологией, парапсихологией, спиритизмом, хиромантией, спиритуализмом, телепатией и предсказаниями, а также оккультными течениями наподобие ариософии и теософии⁴³. Чрезвычайно неоднородная сфера медицины Германии также долго терпела процветающее народное и магическое целительство наряду с тем, что вплоть до откровений Нюрнбергских процессов о преступлениях врачей представлялась самой передовой в мире медицинской культурой.

Было, однако, нечто особенное в массовых сверхъестественных событиях, происходивших в Германии после Второй мировой войны, очень уж во многих из них обращает на себя внимание сосредоточенность на грехе и вине, исцелении и искуплении. Почему события, которые реконструируются и описываются в этой книге, вращались обычно вокруг проблем добра и зла, невинности и преступления, болезни и исцеления? Это глубоко *исторический* вопрос, вопрос «Почему именно здесь и теперь?». Указанные события, в которых отчетливо звучали присущие народной вере нотки морального ущерба и духовного очищения, стали проявлением социального вреда, уникального для Германии послевоенной эпохи. Они коренились в ужасах, в чувствах вины и стыда, в ответственности, недоверии и утратах, которыми была отмечена жизнь после нацистов. Это были свидетельства пустоты — одновременно нравственной, социальной и гносеологической, разверзшейся с разгромом и крахом страны, а также с создаваемой союзниками культурой неприятия массовых убийств.

Глядя через призму в основном забытых сцен и событий, описанных в этой книге, замечаешь то, что часто остается скрытым: страх духовного осквернения, токсичное недоверие и неудовлетворенность, пронизывавшие повседневную жизнь. За невозмутимым поведением, которое наблюдала Арендт, пряталась тревога, даже не имевшая названия, бурлившая на всем протяжении 1950-х гг.

в атмосфере консьюмеристского беспамятства. В условиях еще жившего в памяти многих холокоста, разгрома во Второй мировой войне и уже начинавшегося напряжения первых десятилетий холодной войны жители Западной Германии залечивали многочисленные раны и уколы совести. Многие отношения поразила порча, и колоссальное отчуждение пролегло между людьми, несмотря на то что шло восстановление, заново мостились дороги, а в магазинах, школах и на площадях вновь бурлила жизнь и активность. Сцены, описываемые в этой книге, позволяют взглянуть на эту, иначе недоступную, экзистенциальную и духовную территорию⁴⁴. Это портал, который ведет к земле, одержимой демонами.

Глава 1

ЧИТАЯ ЗНАКИ

В XVI и XVII вв. кальвинистский регион вокруг города Лемго, между Тевтобургским лесом и рекой Везер (в настоящее время земля Северный Рейн — Вестфалия) являлся средоточием преследований ведьм. В ходе четырех волн гонений, с 1561 по 1681 г., 200 с лишним жителей Лемго были казнены за колдовство¹. Большинство из них были женщины, многие — престарелые². Люди верили, что, очищая общины от ведьм, они подрывают планы дьявола, выявляют его тайных приспешников и искореняют зло. Разоблачить ведьму означало исполнить волю Божью.

В последующие столетия эта сторона городского прошлого становилась все более неприятным воспоминанием для местных жителей. Марианна Вебер, писательница-феминистка, жена социолога Макса Вебера, училась в школе Лемго в 1880-е гг. Репутация города как «ведьмовского гнезда», вспоминала она, была «позором!»³.

Полвека спустя, под властью нацистов, в Лемго открылся отремонтированный городской музей, а вместе с ним и новая выставка об эпохе охоты на ведьм. Демонстрируя пыточные инструменты дознавателей, например тиски для больших пальцев и «испанские

сапоги», в которых сжимались голени подозреваемых, музей представлял гонения на ведьм «печальным следствием мрачного Средневековья». В речи по случаю открытия музея в 1937 г. мэр города Вильгельм Грефер охарактеризовал эпоху охоты на ведьм как «скорбную главу в истории нашего города», в которой проявилось «совершенно необъяснимое искажение немецкой ментальности, духа и сущности»⁴.

Многие горожане разделяли уверенность Грефера. Пришествие Третьего рейха казалось им зарей новой эры. Темные недобрые старые времена ушли. Журналист, посетивший выставку в музее Лемго, почувствовал, как его сердце наполнила «глубокая признательность... что судьба уготовила нам более счастливые времена — времена не только подписавшие приговор пыткам времен гонений на ведьм, но и гарантировавшие и обеспечившие всем товарищам по немецкой расе право на жизнь». Эпоха охоты на ведьм казалась настолько далекой, так надежно упрятанной за музейное стекло, что в июне 1939 г. во время парада на местном празднике гостей рассаживали по местам члены здешнего отделения Национал-социалистического союза немецких девушек, одетые в костюмы ведьм⁵.

Всего лишь семь месяцев до этого, в ноябре 1938 г., по всей стране прокатились погромы *Kristallnacht*⁶. В больших и малых городах немцы поджигали синагоги, били витрины принадлежавших евреям магазинов, нападали на евреев и убивали их. Жители Лемго также разгромили местную синагогу, разбили в ней окна и среди бела дня устроили пожар на месте руин. Фотостудию Эриха Катценштайна, еврея, жившего в Лемго, также уничтожили, а два еврейских кладбища осквернили⁶.

Подобно тому, как фантазии о ведьмах приобрели такое культурное влияние в Лемго XVI–XVII вв., что привели к расправам, измышления о всемогущем враге-иудее, стремящемся уничтожить Германию, неуклонно набирали вес среди немцев на протяжении

⁴ Нем.: «Хрустальная ночь» — «Ночь разбитых витрин». — *Прим. пер.*